**Осоргин Михаил Андреевич**

**Рассказы**

**Часы**

Бабушка Татьяна Егоровна с утра в большом волнении. Накануне положила кружева в мыльную воду, продержала всю ночь; вставши, как обычно, в семь, прополоскала в чистой воде, успела и просушить и разгладить. И хотя раньше, чем в два пополудни, не ждать радостного визита, а уже к полудню был накрыт стол не новой, но еще прекрасной скатертью, поставлены две чашки, обе завода Попова, и старинный серебряный чайник, на крышке которого немного покривился от времени малый розан с веточкой о трех лепестках. Еще была к прибору гостя -- фамильная чайная ложка с полусъеденной позолотой.

На свете, на всем белом свете -- а уж на что он велик! -- не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от природы было блестящим, -- блестело; все, что было старо и поизносилось от времени,-- сияло старостью, прилежной штопкой и великой чистотой. И если бы чей зоркий и недобрый глаз отыскал в комнате бабушки одну-единственную соринку, то и эта соринка оказалась бы невинной, ровненькой и чистой.

Кроме поповских чашек с золотой каймой и фигурными ручками, кроме чайника и ложки, оставшихся от семейного сервиза, были в комнате бабушки Татьяны Егоровны еще два предмета на удивленье: рабочий столик и каминные часы.

Рабочий столик, пузатый, с перламутром на крышке и бронзой по скату ножек, стоял не ради красоты. Он был всегда в действии и многих чудес был свидетелем и участником. Трудно сказать, чего не могла скроить, сшить, починить и подштопать бабушкина белая и худенькая рука. И были в столике иголки всякого размера и нитки любого цвета, от грубой шерстяной до тончайшей шелковой. Было в столике столько цветных лоскутков, сколько существует видимых глазу оттенков в радуге, и пуговицы были от самых больших до самых маленьких. Еще было в столике особое отделение для писем, полученных за последний год; тридцать первого декабря эти письма перевязывались тонкой тесьмой и прятались в комод. По правде сказать, писем было немного, с каждым годом меньше. Самое свежее письмо с заграничной маркой получено было на днях -- от внука, которого бабушка не видала двадцать два года, а в последний раз видела трехлетним. Увидать же снова должна была именно сегодня в два часа дня. Поэтому и надела бабушка с утра новый и свежий кружевной чепчик.

И еще, как сказано, были у Татьяны Егоровны старинные и драгоценные каминные часы малого размера, великой красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным заводом (утром в воскресенье). Колокольчики отбивали час, полчаса и каждую четверть, все по-разному. Звук колокольчика был чист, нежен и словно бы доносился издалека. Как это было устроено -- знал только мастер, которого, конечно, давно не было на свете, потому что часам было больше ста лет. И все сто лет часы шли непрерывно, не отставая, не забегая, не уставая отбивать час, половину и четверти.

Двадцать лет назад с часами случилось вот что: стали они отбивать ровно на три часа меньше, чем полагается. Вместо пяти -- два, вместо двух -- одиннадцать, вместо одиннадцати -- восемь и так далее. Однако половины и четверти по-прежнему правильно. Так, бьют они три с четвертью -- значит, четверть седьмого, нужно только прибавить три.

И вот тогда, двадцать лет назад, часы были отданы в починку -- единственный в их жизни раз. Из починки часы вернулись с правильным боем: бьют полдень -- значит, полдень и есть. Неделю шли и били правильно, а через неделю вдруг сразу сбились и в пять часов пробили только раза два. Так пошло и дальше, и больше бабушка их в починку не отдавала.

И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить; часы старые, кто делал их -- неизвестно. А потом -- прошло двадцать лет, и бабушка к ним привыкла: бьют пять -- значит, восемь, а восемь -- значит, одиннадцать. Никакого труда нет накинуть три, тем более что стрелки показывают правильно, для всякого понятно.

Когда часы прозвонили одиннадцать с четвертью, раздался звонок и в передней. И оказалось, что трехлетний Ванечка вытянулся в большого, здорового, приветливого и веселого мужчину и к тому же стал инженером. Когда вошел этот молоденький инженер, внук Татьяны Егоровны, то рабочий столик стал совсем маленьким и от обиды раздул бока, да и самой бабушке пришлось смотреть на внука снизу вверх. Оказался кстати чистый белый платочек, которым бабушка вытерла слезу, -- в старости слезы льются и от радости и от горя совсем одинаково.

Чай пили из серебряного чайника с покосившимся розанчиком, а Ванечка помешивал в поповской чашке старинной ложкой с позолотой. Рабочий столик, сначала возревновав, после стоял смирненько. Кружева на бабушкином чепчике сияли чистотой, а сама бабушка улыбалась, слушая рассказы молодого инженера.

Среди многих чудес молодой жизни рассказывал он, как летел на самолете из Лондона в Париж и какие высоченные дома строят сейчас в Америке. И вообще рассказывал про многое, о чем бабушка и читала и слышала, но еще не встречала человека, который видел бы это сам; и к тому же таким человеком оказался собственный ее внук Ванечка. А пройдет неделя -- и опять поедет он по разным странам, будет летать по воздуху, прокапывать горы и строить мосты над водопадами. И не страшно за него, потому что он здоров, весел, ест пятую булочку с маслом и пьет большую поповскую чашку в два глотка.

-- И все же, Ванечка, береги себя, будь осторожен. Если уж нужно тебе летать на машинах, ты высоко не летай,-- не ровен час что-нибудь в машине испортится. Храни тебя Бог от какого несчастия.

Рассказала ему Татьяна Егоровна про то, как он был совсем маленьким и строил из спичечных коробок железную дорогу: видно, так сама судьба сулила. И фотографию его разыскала: сидит этакий бутуз верхом на игрушечной лошади и прямо смотрит большими глазами. И про отца его рассказала, царство ему небесное.

Уже не раз звонили бабушкины часы половину и четверти, но за первым разговором бой их как-то терялся. И вдруг ясно и отчетливо прозвонили они один час. Инженер повернулся к камину и спросил с удивлением:

-- Это почему же, бабушка, они так мало бьют?

Бабушка объяснила, что бьют они не совсем правильно, а показывают верно, и что часам этим больше ста лет.

-- Надо их починить, бабушка. Ведь это очень просто.

-- Что же их чинить, я к ним привыкла, и так знаю.

И опять заговорил о разном, и пока не прозвонили снова далекие колокольчики, что прошло еще полчаса человеческой жизни. И опять молодой инженер повернулся к часам:

-- Какой у них бой чудесный! Кажется, будто не здесь, а далеко. Вот в горах так бывает, когда часы бьют в какой-нибудь далекой деревушке. Жаль только, что они испорчены.

Тут бабушка промолчала, хотя и было ей приятно, что ему нравятся ее старинные часы.

Когда инженер заторопился уходить,-- опаздывал на важное свидание,-- бабушка завернула в белую бумагу, хорошо вымывши, чайную ложку и сунула ему в руку.

-- Это что, бабушка?

-- А это -- положи в карман. Это, милый, память. Этой ложкой твой отец маленьким молочко пил. Ты ее побереги, места займет немного, а иногда посмотришь.

-- Бабушка, да зачем же! Ну, спасибо!

И опять пригодился бабушке платочек. На прощанье поцеловала внука и покрестила:

-- Может, ты и не веруешь, а уж прости меня, старуху.

И когда он уходил, вдруг опять зазвонили часы, и он, остановившись на пороге, спросил:

-- Бабушка, есть у вас бумага или старая газета?

-- Есть бумага, Ванечка.

-- Дайте мне, бабушка. Мне хочется сделать вам приятное. Вот хорошо, эта подойдет.

Потом быстро подошел к камину, осторожно взял часы и завернул в бумагу:

-- Бабушка, вы не беспокойтесь. Я отдам их починить хорошему часовщику, а через два дня вам принесу. Будут бить, сколько нужно, совсем правильно.

-- Ванечка, да мне не нужно!

Но он и слышать не хотел. Подошел, поцеловал бабушку в обе щеки и убежал со свертком шумно и весело, как все молодые.

\* \* \*

Бабушка Татьяна Егоровна две ночи спала не особенно хорошо. И не о чем было беспокоиться, и все же было как-то беспокойно. Очень было молчаливо. Привыкла, что бьют в старушечьей ночи далекие звонкие колокольчики,-- а вот их нет. Были разные думы, во вторую ночь ей даже приснилось, что большой и толстый часовщик ударил по ее часам тяжелым молотом и -- дзынь! -- часы рассыпались. Старалась утешить себя:

-- Ну, что ж, пускай! Ванечке это приятно.

А на третий день Ванечка забежал на минуту (очень торопился) и занес часы:

-- Ну, бабушка, теперь все хорошо. Сейчас я не могу, а перед отъездом забегу к вам посидеть подольше.

Прошумел и исчез.

Стоят часы на прежнем месте, точно и не уходили. Стрелки идут, подходят к одиннадцати с половиной. Бабушка бродит по комнате, ищет последнюю соринку, чтобы смести ее тряпочкой. Соринки нет, а глаза бабушки косятся на минутную стрелку, а ухо ждет.

И вдруг зазвенел колокольчик и часы забили. И как дошли они до восьми ударов и стали бить дальше, все одиннадцать, бабушка грустно улыбнулась и отвернулась. И рабочий ее столик тоже осунулся и стоял теперь понуро.

Так пошла жизнь дальше, и часы били теперь правильно. Бьют пять -- значит, пять. А в два часа бьют ровно два. Конечно, удобно.

"Главное -- Ванечке приятно,-- думала бабушка.-- Вот уедет в свои путешествия, может быть, опять полетит в какую страну".

Но, конечно, путала иногда, особенно под утро, когда сон чуток. Бьют часы пять,-- ой, проспала! -- а оказывается, и действительно всего-навсего пять часов.

Старый человек иногда загрустит, а отчего -- и сам не знает. О чем-нибудь думается. Вот раньше, например, по воздуху не летали, а все-таки жили, и не хуже жили.

За рабочим своим столиком сидит бабушка Татьяна Егоровна, в доме тихо, и слышно, как тикают на камине часы. А когда приходит им время звенеть далекими колокольчиками, бабушка вздыхает и как-то неохотно слушает -- все же слушает. Слов нет -- бьют часы верно и ни в чем не стали хуже. Однако радости в их бое нет -- да и чему старухе радоваться.

Когда пришло воскресенье, бабушка завела часы ключиком. И часы прежние, и ключик прежний. Не их, конечно, вина, что два дня провели они у чужого человека, который что-то там винтил или пробовал. Никакой с их стороны не было измены.

В эту ночь бабушка проснулась, потому что в комнате легонько чикнуло. Проснулась -- и долго не могла снова уснуть. Не то чтобы беспокойство, а как бы ожиданье: вот что-нибудь случится. Так и лежала, закрыв глаза и слушая ночную тишину. И часы пробили -- все продолжала лежать. И вдруг показалось бабушке, что часы пробить пробили, а не совсем так, как им теперь полагалось. И от этой мысли бабушка взволновалась -- сон совсем ушел. Зажгла свет, посмотрела, все правильно, часы идут хорошо и тикают по-прежнему. Скоро свет -- на стрелках начало шестого. А в памяти что-то осталось -- и волненье.

Тогда бабушка Татьяна Егоровна, в кофте и ночном чепце, села на стул против часов и стала ждать.

Было самой немного стыдно: "И чего я, старуха, жду, чего хочу? Спать бы да спать!"

И решила: "Подожду до четверти да и лягу".

Действительно подождала. Когда же колокольчик в первый раз ударил, вся замерла в ожидании и стала губами считать:

-- Раз, два...

А вместо третьего, четвертого и пятого -- изменился звук колокольчика и заиграли часы четверть.

Бабушка так и замерла. Когда умолкли часы -- подумала: да уж не ошиблась ли? Да ведь как ошибешься? Ведь если сказать по чистой совести -- ведь этого и ждала она, сидя на стуле в ночной час. Сама себе не сказала -- а ждала: пять ли пробьют или только два раза, как били они двадцать лет подряд. Как же можно ошибиться!

И тут сошло в душу бабушки как бы сияние: и странно это, и смешно, а уж так хорошо, точно провели по сердцу ласковой рукой.

Заторопилась, хитро заулыбалась, поскорее легла в постель, укрылась,-- а сна нет, хочется еще услыхать, как будут часы бить половину.

Долго тянулось время, словно бы нарочно кто его затягивал. Тикали часы тихонько-тихонько и, как живые, нашептывали: "Теперь уж будьте покойны, все будет по-старому!" А как подошло время к половине шестого -- звоном колокольчиков, ясным и уверенным, пробили бабушкины верные часы опять ровно два, другим колокольчиком отзвонив и половину.

И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок, а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты.

**Вещи человека**

Умер обыкновенный человек.

Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение: его чернильница, некрасивая и неудобная для всякого другого, футляр его очков, обшарпанный и с краю примятый, самые очки, только по его глазам, безделушки на столе, непонятные и незанятные (чертик с обломанным хвостом, медный рыцарь без щита и меча, стертая печатка), его кожаный портсигар, пряно протабашенный, его носовые платки с разными метками, целый набор воротников и галстуков, в том числе много неносимых и ненужных.

Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь для него и с ним. Вещи покрупнее знали свое место, стояли прочно, уверенно и длительно; мелкие шныряли, терялись, опять находились, жили жизнью забавной, полной интереса и значения.

Но он умер -- и внутренний смысл этих вещей исчез, умер вместе с ним. Все они целиком вошли в серую и унылую массу ненужного, бесхозяйного хлама.

И его письма -- запертые на ключ ящики пожелтевших страниц.

Теперь стало уже излишним сохранять кургузый остаток карандаша, который несколько лет ютился в цветном стакане на письменном столе, пережив невредимо ряд периодических уборок. Он жалел этот огрызок карандаша, как добрый хозяин жалеет старого, больного, износившего силы работника. Карандаш доживал дни свои в покое, в почете, хоть и в пыли -- на дне стакана. Теперь этот бесполезный огрызок потерял своего защитника и осужден исчезнуть.

Женская рука с обручальным кольцом, особенно белая от каемки траурных кружев, перебирает вещицы, открывает коробки, касается конвертов и страниц. Его ключом она отпирает ящики его стола, выдвигает их, неторопливо берет верхнюю коробочку. В коробке орлиный коготь в золотой оправе, несколько камушков с морского пляже (не очень красивых, обыкновенных), старая оправа золотого пенсне, бисером вышитая закладка. И тут же прокуренная трубка со сломанным мундштуком. Разве он курил трубку? И почему все это он сохранял? Откуда эта закладка? Что это за коготь? Чем эти вещички были дороги ему, что он сохранял их в коробке, в ящике, под ключом?

С ними, с этими вещичками, не соединялось никаких интимных и запретных воспоминаний о "ней" или даже о "нем", вообще о людях. Камушки были когда-то найдены на пляже, у моря. Вероятно, было в те дни солнечно и хорошо,-- и отблеск солнца, соль моря и ощущение простора остались на камушках. Ну, как же бросить их! Он их жалел. Дальше пошла жизнь непростая, несолнечная, непросторная. В этой коробочке похоронен бодрящий морской воздух и кусочек былой свободы.

Коготь, вероятно, подарок, но и памяти о подарившем уже не было, а была только знакомая взору вещица, по-своему красивая,-- ну как ее бросить? А трубка... Он курил трубку очень давно, еще когда носил широкополую шляпу, а галстук завязывал свободным бантом (в конце жизни он носил котелок).

Столько лет прожить вместе -- и не знать, что когда-то он курил трубку! Конечно, это -- мелочь; но все же не знала об этом белая рука в трауре. Правда, он уже много лет курил только папиросы и редко-редко сигару.

Белая рука берет другую коробочку. В ней давно остановившиеся маленькие карманные часы; на стрелках -- четверть седьмого, момент, когда часы остановились. В той же коробке модель топорика венецианской гондолы и половина брелка с колечком и надписью: "Separes, mais", {"Разделены, но" (фр.).}-- и на обороте: "toujours unis"{"Всегда вместе" (фр.).}. Где-нибудь есть другая половина, с другим колечком и такою же надписью. Должно быть -- след старой мимолетной встречи: надломили распиленный брелок, взяли каждый по половинке. Но ведь только "separes" осталось, a "toujours unis" -- наивность, воображение! И опять же хранилось уже не воспоминание, а только вещица, которую нельзя же бросить. Куда? В сорную корзину? Просто за окно? Вещица занимает так мало места, она никому и ничему не мешает, ее нельзя не жалеть.

Он жалел ее, как карандаш, как сломанную трубку.

Когда воздух и чужой глаз дотронулись до вещей человека -- вещи поблекли, осунулись. Знакомому глазу они улыбались приветливо, даже когда он смотрел на них рассеянно, на все сразу, мельком. Просыпались -- для него, и опять засыпали мирно, до следующей встречи. И им казалось -- так будет всегда. Сейчас их трогала рука незнакомая, от которой можно ожидать всего. Хозяин умер -- и вещи его стали тусклыми, испуганными, старенькими, блеклыми. Грядущее неизвестно. Перенести свою любовь на другого человека? Нет, вещи не изменяют.

А затем белая рука с каемкой траура спокойно, не дрогнув, как бы в сознании права, пошла на преступление. Ножницами (его же старыми ножницами) она перерезала тонкую бечевку -- и пачка писем рассыпалась.

Рассыпалась пачка, но складки мелко исписанной бумаги слежались давно и тесно. Ни фразы, ни слова уже не имели никакого значения, и вся пачка продолжала жить только как вещь, которую пожалели, сохранили, не бросили, потому что нельзя же (то есть можно, но трудно) бросить то, что было когда-то свято и полно трепетного интереса. А спустя час -- письма, набухшие, разбитые, потерявшие тесную друг с другом связь (складка со складкой, листик с листом), лежали оскорбленной и ненужной грудой, и сложить их по-прежнему было уже нельзя.

И белая рука не знала, что с ними делать дальше. Нервнее, чем прежде, она перебирала их, снова отыскивая слова и фразы, не ею писанные -- и писанные не ей. В эту минуту к вещам ненужным и бесхозяйным, с которыми никто не считается и которых не уважают, присоединилась еще одна: умерший человек.

Он стал первой вещью, ушедшей из привычного уюта. Он ушел совсем и навсегда, оставив на стене большой свой портрет, плоский, с остановившимся взглядом и надетой на лицо улыбкой -- для других. Глаз, которыми он смотрел в себя, не было; души его не стало. Пока маленький храм его духа был нетронут,-- человек жил в пачке писем, в трубке, в полужетоне с французской надписью, в огрызке карандаша. Теперь, когда вскрыты его смешные коробочки и перелистаны самые хранимые его письма,-- он ушел в шелесте последней бумажки и стал только страшной вещью, за кладбищенской стеной, под увядшими венками.

И было велико смятение его любимых вещей, согнанных с отведенных им мест, сваленных в кучу, обреченных на уход -- сегодня ли, завтра ли. Осколки храма стали мусором.

Много раньше, чем белая рука решила их дальнейшую участь,-- еще живя в материи,-- умерли в духе \_в\_е\_щ\_и\_ \_ч\_е\_л\_о\_в\_е\_к\_а.